

Елена Кассель

Андрей да Марья...

Предлагаемый отрывок из книги воспоминаний Лены Кассель рассказывает об очень близких друзьях Лены и ее мужа поэта и переводчика Василия Бетаки. Сама Лена математик, но и во многом соавтор мужа. Совместно они подготовили несколько книг, в том числе и переводы стихов Сильвии Плат для «Литературных памятников». После смерти мужа Лена пишет воспоминания о нем. Условное название будущей книги «Эхо».

Несколько лет назад я рассеянно раскрыла московское издание книжки Синявского «Иван-дурак». В глаза тут же бросилась фраза: «А пробор у Лешего справа, тогда как у людей он всегда слева».

Никаких сомнений не возникло – уж Синявский-то несомненно знал, с какой стороны у Лешего пробор.

Впервые я увидела Синявского в начале 80-х годов в Бостоне на конференции «Литература в изгнании». Маленький, заросший седой бородой, с виду усталый и двигался по-стариковски. А рядом большая Марья Васильевна в балахоне.

Когда Синявский начал по бумажке читать доклад, возникло то же ощущение избранности и приподнятости, которое обычно возникает, когда слушаешь неаффектированное чтение хороших стихов.

Доклад был о первой поездке в Италию, а на самом деле о прочности европейского культурного пространства и о том, как, входя в него, обретаешь некий душевный покой. Образы роились –

коза, мирно обгладывающая куст у стены с коммунистическим плакатом на окраине какого-то итальянского города, падуанский университет, синие древние холмы Прованса. И голос у Синявского оказался совсем не стариковский, глубокий и очень слышный.

Надо сказать, что эта конференция как-то явно показала, что возраст – явление чисто психологическое. Мальчик Аксенов помогал спуститься с эстрады старику Коржавину, разумно говорил человек средних лет Войнович.

К Синявскому с его стариковской походкой понятие возраста оказалось неприменимо. И в самом деле, что такое возраст Пхенца или Лешего? А может быть, все-таки Домового?

Ведь на самом деле он обитал в доме, у себя в комнате, где стоял старый-престарый макинтош, на котором он так и не научился переставлять абзацы. А Марья на что?

Из лагерных писем.

«Старичок как ребенок. То пойдет в зоопарк к знакомой антилопе, то в кино. И старичку весело жить, отрешившись от взрослых забот и воротясь в детство, на пенсию. Он бы прыгал на одной ножке, если бы позволило здоровье. Но и так ему хорошо, на солнышке, как котенку, обдумывая, во что еще поиграть в этой просторной и такой одинокой жизни».

Честно говоря, сказать точно, что Синявский умел, а чего не умел, было достаточно сложно. Вообще-то, он не без выгоды для себя морочил людям голову – ведь так удобно чего-нибудь не уметь, так удобно было переложить на Марью всю скучную-занудную часть жизни, где надо пользоваться чековой книжкой, брать по карточке деньги, платить налоги, заниматься хозяйственными мелочами.

Марья очень любит рассказывать про то, как в самом начале их совместной жизни у них в комнате перегорела лампочка в люстре, и Синявский заставил ее позвать монтера, потому как лампочка была особенная, непростая была лампочка, и без монтера с ней было не справиться. Монтер пришел, ввинтил лампочку и ушел, получив деньги.

С тех пор Синявский был отстранен от всех домашних работ. Остается только гадать, не было ли в этой истории тайной цели.

Впрочем, при мне, в связи с рассказом о нашей поездке на машине в Англию, Синявский посочувствовал трудностям, связанным с перестановкой руля на правую сторону, проявив тем самым осведомленность в вопросе о том, по какой стороне в Англии ездят.

Один раз в разговоре за столом Синявский очень четко сформулировал свои жизненные взгляды. Он как-то, между прочим, сказал, что хорошо быть генеральшей. Народ не понял, и Синявский очень спокойно пояснил, что генерал работает, а генеральша книжки пишет. Ну что ж, Марья ведь в чине фельдмаршала.

С неумениями бывали проколы. При мне он прокололся дважды – один раз с неумением говорить по-французски, а второй раз с неумением быстро ходить. С французским было очень просто – рассказывая историю женитьбы одного приятеля на французенке, он сообщил, что с французенкой приятель познакомился в Москве, у него в доме, а к нему в дом эту приезжую французенку прислали, потому как больше не к кому было – никто по-французски не говорил. Потом уже я услышала от Наташи Рубинштейн, очень близкого обоим Синявским человека, что Андрей Донатыч как-то при ней с большим увлечением рассказывал о заседании кафедры в Сорбонне. Заседание, ясное дело, велось по-французски.

С неумением быстро ходить было еще проще – как-то раз, подходя к дому Синявских, мы столкнулись нос к носу с хозяином, выходящим из ворот стремительной походкой. Увидев нас, он страшно засмутился и пояснил, что направляется на почту.

По субботам Синявский читал в Сорбонне курс о русской поэзии 20 века. На лекции приходили очень разные люди – французские студенты, студенты из Америки (в основном, ребята, которых в детстве увезли из России и которых в юности вдруг потянуло к русской культуре), старушки – божьи одуванчики, еще из первой эмиграции.

Лекции были четкие, очень подготовленные, естественно, с чтением стихов. Больше всего в чтении Синявского меня поразило «Левый марш» – он не просто мощно и трубно его читал, он его читал с наслаждением, очень лично.

После этого грохочущего чтения наступил положенный перерыв, и божьи одуванчики принесли усталому старенькому профессору кофе из автомата.

Когда Синявский пришел читать лекцию сразу после возвращения из первой поездки в Россию, его, естественно, стали спрашивать, – он отвечал сначала не очень охотно, но потом разговорился и с некоторым удивлением сказал, что не ожидал, что его так помнят, что, дескать, он думал, что ему обрадуются только какие-нибудь старые знакомые девочки, и тут же поправился – не девочки, старушки...

Из лагерных писем.

«Предмет, удвоенный в зеркале или в воде, кажется цельнее, он не раздваивается, а удваивается, помножается сам на себя. Он замыкается на себе в этом пребывании на границе своей иллюзии.

В отражении важно, во-первых, что оно перевернуто, во-вторых – подернуто рябью, дымкой, оно струится и дышит, и проступает из тьмы, со дна водоема. Это как бы тот свет предмета, его психея, идея (в Платоновом смысле), заручившись которой, тот крепче стоит и красуется на берегу. Зеркало его подтверждает, удостоверяет и вместе с тем вносит долю горечи, тоски, недостижимости прекрасного далека, становясь по отношению к миру легендой о граде Китеже».

Не знаю, в какой мере он тогда понимал, что для людей моего поколения он был символом истинной независимости. Кроме Синявского разве что еще Бродский мог бы по праву сказать, что разногласия с властью у него стилистические, то есть самые глубокие. Политические разногласия значат куда меньше.

Из лагерных писем.

«Наверно, время воспринимается здесь как пространство, и в этом суть. По нему как будто идешь, и это тем более странно, что сидишь на месте, не двигаясь, и увязают ноги, и относит как бы назад, в прошлое, так что, придя в себя,

удивляешься, что прошел уже год и опять весна. Здесь не верна поговорка: жизнь прожить – не поле перейти. Нет, именно поле. И перейти».

«...здешняя моя жизнь в психологическом отношении похожа на пребывание в вагоне дальнего следования, когда роль поезда исполняет ход времени, которое своим целенаправленным движением порождает иллюзию осмысленности и насыщенности самого пустого времяпрепровождения, поскольку чем бы ты ни занимался, – «срок все равно идет» и, значит, дни проходят недаром, а как бы работают на будущее и за счет этого становятся содержательнее. И как в поезде, пассажиры не очень-то склонны заниматься полезным делом, потому что их существование оправдано неуклонным приближением к станции назначения. Они могут позволить себе жить в свое удовольствие, насколько это доступно, – играть, гулять, пить кофе, болтать, не угрызаясь этой растратой свободного времени: отбывание срока во все вносит долю полезности.

Меня эта путевая психология не очень устраивает, и я тихо бешусь, слыша постоянные: «да, куда вы торопитесь», «у нас же столько-то лет впереди», «почему вы не хотите развлечься» и т. п. Жить на изживении у будущего мне неохота. Но дело не во мне, а в парадоксальности ситуации, восполняющей отсутствие смысла жизни осмысленностью ее изживания. Иногда кажется, что в таком состоянии, поджидая, когда исполнится срок, люди могут быть счастливее, чем в условиях свободы, но только не вполне сознают эту возможность».

Когда Синявский вышел из лагеря и решил, «что надо уезжать», Марья сообщила куда следует, что на Западе уже лежит написанная в лагере разоблачительная книга, и что если их выпустят, то, так уж и быть, книга не выйдет в свет, но если нет – пусть органы пеняют на себя.

Книга, написанная в лагере, существовала, – Синявский переправил ее по частям в письмах Марье – это «Прогулки с Пушкиным».

Для тех, кто не знает, «Прогулки с Пушкиным» – о Пушкине и о русской культуре – как и следует из названия.

Уехали Синявские на поезде – со всем скарбом – и с авоськой еды в дорогу...

Примерно через год органы призвали Марью к ответу. Прибывший в Париж гб-шник попросил о встрече. Марья пригласила его в кафе. Перед тем как отправиться на свиданье, она предупредила «французов» и спрятала в карман магнитофон.

Я не помню всех красочных подробностей – кратко – беседу Марья записала, гб-шника повязали, ночь он провел в кутузке, а утром был отправлен в Москву.

У Синявских же потребовали, чтоб они немедленно взяли французское гражданство – им его предлагали сразу по приезде, но они отказались – некоторая часть политических эмигрантов тогда гражданства не брала, ощущая себя русскими в изгнании.

В последние годы жизни Синявский успел много раз съездить в Россию и пообщаться с людьми, которые им восхищались. Эти поездки были очень важны для Марьи, а вот для него – не думаю, по-моему, он так боялся не успеть, что все, что не сидение за письменным столом – поездки, люди, развлечения, – было только помехой.

Из лагерных писем.

«...меня раздражало и до сих пор из себя выводит – с каким шумом и тупостью люди целыми днями, годами дуются в домино или в шашки, стучат по столу, так что все подпрыгивает, с размаха, с повторением одних и тех же формул, ругательств, обязательно стучать, приговаривая «пошел! пошел!», круговорот, круг Ван-Гога, его же кафе, но за всем этим вторая действительность, ибо действительностей много, и развлекающиеся в домино игроки обретают интересный сюжет существования, переживают острую драму побед и поражений, испытывают близость судьбы, – поработал на станке, поиграл в шашки для поддержания интереса, игра вообще заключает в себя схему жизни, полную приключений, событий, и за недостатком таковых их воссоздают на доске, проходя не в люди, а в дамки, такая же большая действительность, как у меня, например, чтение, когда ныряешь в книгу,

как в сон, и живешь параллельно движением речи, более интересным, чем собственная судьба, и все эти плоскости, составленные под углом друг к другу, торчащие в разные стороны, образуют огромное, запутанное бытие человека, живущего сразу в нескольких направлениях».

Когда они с Марьей приходили вечером в гости, Синявский довольно рано начинал беспокоиться о том, что на следующий день надо рано встать, ведь надо работать.

Он писал роман «Кошкин дом», и он все-таки успел его дописать, хотя Марье и пришлось после его смерти проделать колоссальную работу, разбираясь в том, куда же он хотел вставить последние написанные абзацы, и каков окончательный порядок глав.

Много разговоров с Синявским происходили в темной машине, когда мы их домой отвозили. Я очень четко вижу ветреный дождливый вечер, мы едем в машине, и он так медлительно говорит, что есть два лучших запаха на свете – псины и старых пыльных книг.

Как-то у них кошка заболела, даже в больницу на ночь попала, и потерянный Синявский сказал, что очень ему перед кошкой совестно, что человек, ежели заболит, так ведь понимает, попав в больницу, что либо выздоровеет, либо помрет, а кошка-то не понимает.

Кошка у них была нагловатая и вороватая, жила в комнате у Синявского на втором этаже, спускалась вниз у него на руках и ела у него с вилки. Кроме того, ловила в крошечном пруду перед домом рыбок – лапой из воды выдергивала и бросала на дорожку. Один раз испугала до полусмерти какого-то гостя, ночевавшего в одиночестве на втором этаже, разбудив его ночью стуком в оконное стекло – она взобралась по глицинии и попросилась в дом. Совсем как в рассказе Конан-Дойля про профессора, превращавшегося в обезьяну из-за омолаживающих порошков!

Много было замечательных «звериных» историй – про пуделиху Мотечку и спаниеля Осечку. Осечка, судя по всему, был умен и надменен – один раз даже деньги на улице нашел и домой принес. Мотечка была простодушна и глуповата, никак не могла примириться с тем, что собакам не надо связываться с ежами, а ежи на улицах Фонтене-о-Роз ей попадались довольно часто.

Синявский рассказывал про Осечку одну душераздирающую историю: однажды, когда они с Марьей путешествовали по Северу, в какой-то деревне Осечка забежал на поле, где паслись лошади, и они за ним погнались. Синявский еле сумел, бросившись в поле, собаку схватить. Потом ему объяснили, что лошади Осечку приняли за медвежонка и могли бы просто затоптать.

Люди, мало знавшие Синявских, считали, что Марья все время лезет вперед, отталкивая Синявского, первая отвечает на вопросы во время разного рода встреч. На самом деле, как мне представляется, тут была ролевая игра, Синявскому было чрезвычайно удобно самоустраняться, чтобы его не беспокоили, а Марья, конечно же, получала удовольствие от общения, от возможности высказаться, да и от возможности иногда просто подразнить людей, при этом оберегая покой своего Синявского.

Конечно же, она наслаждалась, рассказывая про него разные истории, – ну, Санчо Панса должно было нравиться рассказывать смешные истории про Дон-Кихота.

Однажды мы к ним пришли ужинать, и Марья, показывая на Синявского, облаченного в белые штаны, с гордостью поведала, как он в этих белых штанах перед приходом приличных гостей плюхнулся на земляничное пирожное, почему-то оказавшееся на стуле, и как она, Марья, замазала пятно белой жидкостью для замазывания ошибок на бумаге.

У Синявских неподалеку от дома был любимый китайский ресторанчик, где Андрей Донатыч ел всегда одно и то же – надо сказать, минимально китайское – суп и голубцы.

Ресторанчик был как-то неудачно расположен, и народу там бывало очень мало, несмотря на действительно первосортную еду.

Когда Синявский заболел, они, естественно, перестали там бывать.

Умер Синявский в феврале, а к «китайцам» они не ходили с лета. И вот после похорон Марье захотелось повести людей в любимый ресторан Синявского, она позвонила своим «китайцам», и выяснилось, что ресторана больше нет, закрылся.

Такое вот колдовство?

Вместо того чтоб идти к «китайцам», мы пошли «на уголок» – в маленькую пивнушку у самого их дома. На углу. Эта пивнушка тоже играла некоторую роль в жизни Синявского – стоило Марье куда-нибудь отправиться, как Синявский шмыгал из дома «на уголок», выпивал там с соседскими мужиками, общаясь на неизвестном ему французском.

Через несколько месяцев после его смерти Марье захотелось купить в местном цветочном магазине розовый куст, и вдруг цветочник предложил ей этот куст за половинную цену – половину цветочник скостил «для Месье». Он был одним из мужиков, с которыми Синявский выпивал.

Синявский заболел в августе, и где-то с октября по январь у него была ремиссия, наверно, благодаря Марьиным невероятным усилиям – особой диете, лекарству из акульих плавников... Не верилось, что он умирает. Он сидел у себя наверху. Работал, читал, перечитывал детские книги.

В январе ему стало резко хуже, и все пошло очень быстро. За две недели до смерти привезли специально оборудованную больничную кровать. Синявский практически не общался, не разговаривал, лежал с закрытыми глазами. И вот мы втроем с Марьей и Васькой, пытаюсь его расшевелить, на-

чали говорить всякие глупости про прибытие этой чудо-кровати, про то, какая она замечательная. И вдруг он рассмеялся своим обычным очень веселым смехом, приговаривая: «господи, а они про кровать...».

Это было последнее, что я слышала от Синявского.

Васька – Василий Павлович Бетаки, поэт и переводчик;

Марья – Мария Васильевна Розанова-Синявская, жена Андрея Донатовича Синявского.

Публикация Александра Бирштейна

